

ВИКТОР КРИВУЛИН

Поэт

ПИСЬМА К МАРИИ ИВАШИНЦОВОЙ

Τ

<27.06.1978*>

Машенька, любимая моя, горе моё, вот ты ушла, а я никак не могу кончить разговор с тобой, и он длится на самом деле всю жизнь, и ты уже никогда, наверное, не почувствуешь всем своим существом, что есть на свете человек, который любит тебя, как это ни пошло звучит, больше жизни, больше всего, что есть в жизни. Тебе просто тяжело и не по себе со мною, ты — уже или ещё, не знаю? — совсем в другом, а мне от этого больно, я и боюсь видеть и приглашать тебя, и не могу без этого. Сел печатать вечерние молитвы — не могу, опечатки и прочее. Это правда, что любящий беззащитен перед другими людьми, перед всем окружающим, перед каждой вещью. Я раньше знал это умом, как умом понимал, что мне нельзя тебя любить — и жизнь как-то держалась. Теперь всё рухнуло. Я не хочу любить τ ебя — нам обоим от этого только худо, но я боюсь затаптывать то, что живёт во мне как беспричинная надежда на счастье. Спрашиваю себя: останется ли во мне это чувство, если мы будем вместе, или это всё только обычное желание недоступного, «поэтическая» тяга к самоистязанию, когда жизнь — лишь материал для стихов. И честно отвечаю: не знаю, а какая боль от одной мысли, что могу снова причинить тебе страдание! Я смотрю на себя и вижу, что не научился быть бережным к близким. И снова спрашиваю себя: хватит ли во мне этой теперешней душевной нежности, если произойдёт чудо и мы будем вместе. И, кажется, хватит. Каков бы я ни был, я думаю о себе, может быть, хуже, чем ты обо мне, — вот, повсюду плоды моей жизни, человеческие судьбы. Но я знаю, и это правда, самый жестокий внутренний суд и тот душевный адский огонь, который выжигает все иллюзии, и остаётся чистая тяга к добру, какая-то неутолимая жажда

168

^{*} Даты, заключённые в угловые скобки, указаны на конвертах.

добра и любви. И остаётся от всей жизни только то, что я любил и люблю тебя, а это правда, которая не окупается и не оправдывается никакими стихами, никаким благоприобретённым опытом, ничем. И моя беда, что я тебя любил и люблю такой, какая ты есть, а не той, которой ты хотела стать или хотела казаться. Я не видел и не вижу твоих ролей, не знаю твоих идеальных образов для себя, но мы уже потеряли самое важное, что было приобретено такой взаимной мукой, — то, когда тело другого становилось его душой и твоей душою. Я не знаю, может быть, это не редкость — когда два тела и две души могут так сильно вчувствоваться друг в друга. Может ли такое происходить, если ты находишься с разными людьми? Мне казалось нет. Может быть, я не знаю физиологических отличий в механизме памяти мужчины и памяти женщины. Может быть, я ошибаюсь и, как всегда, поступаю самонадеянно, думая, что никто, кроме меня, $никог \partial a^*$ не любил тебя — тебя как ты есть, а не твой потенциальный образ или отражение тебя в себе. Как бы ты сейчас ни относилась ко мне, я не чувствую того, что наша связь была лишь каким-то жизненным эпизодом для тебя или для меня, или что это одна из твоих «трёх любовей», или что это один из моих «браков». Это не была ошибка — ни твоя, ни моя. Это была единственная реальность нашей жизни. Сейчас ты не чувствуешь этого, может быть, никогда уже до смерти не почувствуешь, но если, умирая, человек действительно в одно мгновение охватывает всю свою жизнь, то и ты увидишь через другие унижения, боль, грязь, неподлинность, ложь — увидишь, что нету ничего в тебе живого, кроме этой нити, что связывала нас. Я не пытаюсь «запрограммировать» эту мысль в тебя — я возвращаю её тебе, потому что когда-то она пришла ко мне от тебя. Это было твоё движение, и, видит Бог, оно не было ложным. Наша история имеет вполне литературно-романтическую оболочку, но кому как тебе не знать, что зерно её и корень никакого отношения к литературе не имеют, — просто история двух людей, которые любили друг друга, не умея делать это вполсилы, как остальные делают, двух людей, которые не имели терпения ждать друг друга в своей любви. Сейчас у меня поразительная ясность в голове и в сердце. Я ничего не «накручиваю», мне просто больно и за себя и за тебя, потому что, хотя ты сейчас как бы и освободилась от нашей близости, твоя «часть» её не умерла, не исчезла, она лежит во мне, и мне трудно и горько с ними, с двумя — со своей и с твоей. Это как сообщающиеся сосуды: если сильно дуть в один, то всё переходит в другой, а первый как бы опустошается. Это «как бы» — твоя жизнь сейчас, как бы ты её ни оценивала сама. Никто не обладает таким острым зрением на любимого, как любящий, и зрение это истинно — и если тебе сейчас кажется, что ты была слепа и ничего не ви-

 $^{^{*}}$ Здесь и далее курсивом выделены подчёркивания, сделанные В. Кривулиным.



Виктор Кривулин. Фото Марии Ивашинцовой, 1970-е

дела, когда мы были вместе, то ты ничего не видела вокруг нас, а вокруг нас действительно ничего не было, кроме сплетен, пересудов и мелких обид. Такая слепота и есть настоящее зрение. И сейчас я вижу тебя не своими, а *твоими* — тогдашними, — твоими же глазами — и ты «как бы» живёшь, а «как бы» — нет. Такая «как бы»-жизнь была и у меня, и долго была, восемь целых лет. И я знаю цену такой жизни. Но сейчас гораздо важнее того, будем ли мы вместе, и будет ли это действительно жизнь, а не «как бы...», то — можешь ли ты вообще жить без этого самого «как бы», даже независимо от того — со мною или без меня. Тебе кажется, что только сейчас ты обретаешь себя, а это самое опасное — потому ты обретаешь себя лишь в чьих-то глазах — в глазах твоих домашних, что ли, не знаю. Мне кажется, когда я к тебе пришёл, ты была занята строительством какого-то нового своего образа, видя в нём всю себя. Я могу ошибаться, и твоя жизнь за восемь лет, пока мы не знали друг друга, могла претерпеть необратимые изменения, но тогда всё, что стараюсь сделать для тебя, — бесполезно, и эти молитвы не нужны тебе. То, как ты относишься к своей работе, и то, что вкладываешь в неё, в конце концов может привести к новому разочарованию. Любая работа есть только работа, и не больше того. Это касается и писания стихов, но не касается поэзии, которая не есть стихи, а есть та область жизни человека, на которую стихи могут только более или менее точно указывать. На эту область может указывать любое естественное человеческое действие — естественное. То, что я сегодня говорил о технике, в каком-то изначальном смысле этой естественности противоположно. И беда в том, что техника проникла уже во все человеческие действия, в самые внутренние, интимные. Говорят даже о «технике» молитвы, иногда не без оснований: молитва становится профессией, а не жизнью. Если ты действительно так изменилась за восемь лет, если в тебя уже настолько проникло это «техническое» (фактически оно же и магическое) виденье мира, то все молитвы будут только во вред. Я только сейчас об этом подумал. Если от соприкосновения со мною ты чувствуешь тяжесть и какое-то неудобство, то значит, вс \ddot{e} , может быть, бесполезно — и ты уже целиком во власти этой магии, которая хочет владеть жизнью, сожрать её, подчинить, превратить в половую тряпку. Понимаешь, как бы я ни любил тебя, как бы ни хотел быть с тобою, я не только для себя этого хочу. Если ты оживёшь, даже будучи далеко от меня, мне будет хорошо от одной мысли, что хоть кому-то из близких — и самому при том близкому человеку, — я смог не только страдание причинить, но и хоть чем-то помочь. Хотя бы чуть-чуть. Прости меня, я зануда, и назойлив, и мне самому тяжело от этого, и ты можешь сказать, что не нуждаешься в моей помощи, и будешь права. Но, может быть, без всякого реального основания я чувствую себя единственным человеком, который любил и любит тебя, и здесь вся моя жизнь, пусть занудная и тяжёлая, пусть смешная — но вся. Прости. Витя.

II

<29.06.1978>

Машенька, сейчас семь утра, вторую ночь я не могу уснуть. Может быть, я зря пишу тебе и тревожу тебя, но если бы в своё время ты отправляла свои письма мне, ни ты, ни я сейчас бы так не мучились. Как тебе ни плохо, я всё-таки завидую тебе: даже если тебя любит человек, которого ты не любишь, всё равно, сознание того, что тебя любят, даёт и волю к жизни, и если не радость, то хотя бы некоторое душевное облегчение. Пусть как бы всё в тебе умерло, сжалось от боли и обид, если ты способна внушать любовь — значит, это будет жить. Сегодня я писал целый день, чтобы хоть как-то защититься от желания видеть тебя. Вечерние молитвы я перепечатал, ты можешь забрать их, если есть желание. То, что я писал, мне не нравится как стихи, но там есть что-то совсем другое, что может быть понятно только нам с тобой, если ты не впала ещё в совершенное беспамятство относительно того, что связывало нас. А я обнаруживаю, что реальной, а не насильственной памятью ты помнишь только злое, которое через меня пришло к тебе, а всё подлинное, живое — только умом помнишь, смутно и нереально. Поэтому и не можешь поверить мне. Вообще в нас память на зло сильнее, и это самое скверное. Я не могу назвать себя хорошим человеком, но я никогда не запоминаю зла, которое мне причиняли, — и все, кого я помню, остаются во мне светом. Когда-то, лет 15 назад, ты подарила мне книжку, не знаю, где она сейчас, с надписью. Было написано тютчевское четверостишие, которое он послал жене, сходившей с ума от ревности к Денисьевой. К письму со стихотворением был приложен «Новый Завет». Помнишь эти стихи?

Всё, что сберечь мне удалось Надежды, веры и любви — в одну молитву всё слилось: переживи, переживи!

Эрнестину тогда Тютчев не любил, но между ними оставалась живая человеческая связь. Тогда эта надпись расстроила меня — до сих пор помню своё отчаянье: это был знак, что ты не любишь меня и что тебя тяготит моя любовь. К сожалению, я ничего *не пережил*, хотя столько времени прошло. И вот стихи, в них входит тютчевское:

Всё, что сберечь мне удалось Надежды, веры и любви — в одну молитву всё слилось: переживи, переживи...

Она пережила́. И наша связь, как тополь из подпочвенного жара, из тютчевской цитаты развилась — и всей листвой под ветром задрожала.

Влетает в окна осторожный пух — живые клочья писем неземных, навек соединяющие двух одной разлукой, общей для двоих.

Но если семя теплилось во тьме столетие, покуда не нашло пробить асфальт и вырасти во мне, и если есть посмертное тепло, —

то смерти нет, и разлученья — нет, когда мольба живая заглушит и свист измен, и тёмный шорох лет, изъеденных тоннелями обид.

Наверное, это плохие стихи, но всё в них правда, и нет никакой фантазии: ты написала тютчевское четверостишие *ровно* через сто лет после его создания, в марте 63 года. И ещё одно стихотворение у меня есть про дерево и про нас с тобой, оно, кажется, лучше как стихи, но — сложнее, мучительнее:

Дерево крови, шумящее глухо во мне, и древо дыхания, вниз обратясь от гортани... И зелень безумная хлещёт извне, из ветхого сада и сквера свиданий.

Всё это — не я, никогда это не было мной. Какие-то внешние лица, события, слёзы. В открытых глазах моих — дерево крови. Закрой и древо дыханья внутри зацветёт, как заноза.

Но с тем человеком, какой задохнулся в груди, кто сделался кровью моей, разомкнувшей кольцо обращенья, ничто не случится — ни смерти, ни порабощенья, и тайная тля не коснётся его посреди угарного, транспортного ущелья, где жизнь моя движется по неземному пути.

И я действительно верю, что ни смерть духовная, ни рабство тебя не коснутся. Я действительно люблю тебя, Маша, хотя теперь тебе это уже безразлично.

III

<30.06.1978>

Машенька! Судя по тому, что ты исчезла, мои письма ещё больше оттолкнули тебя. Что же, я был совершенно искренен и раскрыт, может быть, больше, чем это допустимо в отчуждённых человеческих отношениях, какие у нас сейчас с тобою есть. Но не жалею об этом, мне отвратительна любая двусмысленность и пошлость, в которой ты теперь, кажется, обнаружила для себя нечто весьма привлекательное. В конце концов, ты не запретишь мне писать на твой адрес, даже если не будешь вскрывать моих писем: я столько лет вёл с тобой непрерывный внутренний разговор, что письменное его продолжение может звучать так же без твоего голоса, как звучало мысленное начало. Впрочем, твой голос звучит — тот, прежний голос, и мне никуда от него не деться, и я вынужден всё время отвечать на него, и это самая тяжкая расплата за мою прежнюю самовлюблённую глухоту. Теперь я совершенно отчётливо понял: как бы ни сложилась моя жизнь в её внешних поворотах, внутренне она всегда будет обращена к тебе. Эта мысль как-то успокоила и отрезвила меня. Один раз за всю жизнь может реализоваться всё лучшее, что было в человеке, и даже если ничто не повторяется — этот единственный раз есть оправдание и освещёние всей прочей жизни, с её бытом, грязью, гнилостью и всей полуживотной дрянью. Это прекрасно, и я не знаю других живых людей, кроме тех, кому бы эта реализация удалась с такой силой и бесповоротностью. Ты права, когда чувствуешь тяжесть в наших встречах: твоё теперешнее состояние представляется мне глубочайшим внутренним упадком, какой-то сплошной «зубной болью» запутавшейся в жизни души. Я хочу чем-то помочь, но бессилен, потому что тебе кажется, что не в моей помощи ты нуждаешься. Тебя оскорбляет самое моё желание чем-то помочь тебе. Это обидно больше всего. Рассуждения о помощи не помогают, я это знаю, но я знаю и то, что слова имеют реальную силу, если они исходят из внутреннего источника. Я обращаюсь к тебе так, как будто ты меня слышишь, а ты живёшь совсем в другом, уже в другой жизни, и если бы ты посмотрела на неё со стороны, как иногда удается мне, — ты бы пришла в действительный ужас от её неподлинности, от зла и яда, заключённых в ней и уже проникших в тебя. Я не говорю, что я чист, и вовсе я никакое не благородное существо, как ты сама прекрасно знаешь, но у меня совсем другая жизненная основа, и жизнь моя действительно укоренена в доброй почве, а если она внешне так уродлива, жалка, изломанна, то виною этому именно та жизнь — зла, вернее, та ходячая смерть, которая всё сильнее распространяется среди нас. Здесь моя главная борьба, и ты была и остаёшься самым важным союзником для меня: по твоей судьбе я вижу, как сильно и реально зло, так сильно, что на какое-то время оно и меня подчинило себе, и я бессознательно

174



Мария Ивашинцова. *Фото Бориса Смелова*, 1975. Из архива М. Ю. Ивашинцовой

стал его орудием. Но именно твоё существование и спасло меня, и это была реальная помощь — помощь, от которой я всячески убегал, как убегаешь ты теперь от неё. Хотя я и живу поэзией, наша жизнь — не литературный штамп, ты напрасно боишься того, что какая-то часть твоей жизни «съедена стихами», — эта часть стала мною, но ведь и из тебя она *не ушла*, и если ты чувствуешь сейчас её как что-то чужое, то лишь потому, что короста, какою нас покрывает жизнь, ещё не спала с тебя, ещё не сломана. Мы беззащитны без этой коры, но мы не имеем права покрываться ею — это и есть настоящая смерть, «вторая смерть» — духовная, не знаю, даёт ли тебе чтонибудь чтение молитв, и читаешь ли их ты вообще. Если не читаешь — то грех это, не передо мною и не перед Богом, а перед тобою самою же. Если в тебе нету органа, различающего доброе и злое, подлинное и неподлинное, если так извращён и болен в тебе этот орган, что искреннее, настоящее, и поэтому, может быть, внешне некрасивое моё движение к тебе ты восприняла как злое движение, если так — то и молитвы ты можешь прочесть как-то не так, не настоящими своими глазами, а «подсунутыми». В тебе появилось то, чего я не замечал раньше, — хитрость какая-то, что ли, скрытность и недоверие, даже не знаю, как назвать, — обида на прошлое, что ли, на всё, что было в прошлом. Это самое печальное, что со временем

мы становимся хуже в чисто человеческом смысле, хуже и злее. Мне всегда казалось, что настоящее всеобщее озлобление и вызванное им уныние не должно коснуться твоего сердца. На моих глазах умирают мои друзья. Это банальная русская ситуация — медленная духовная смерть посреди всеобщей пошлости, цинизма и тотального недоверия. Так уже было в 80-е годы. С тобой происходит то же, что и со многими. Послушай, я не могу видеть, как погибает моё поколение, как всё лучшее в нём застывает, эти человеческие маски на улицах, эти же маски — когда приходишь к кому-нибудь, даже в церкви иногда видишь это мертвенное застывание и замыкание лиц. Вокруг очень мало радости и совсем нет счастья. Жизни как бы пригнаны насильственно друг к другу, и только бытовое, «пошлое» тепло ещё как бы согревает их. Но, согревая, убивает — обрекает на худшую форму жизни гнилостное брожение. Ты понимаешь, я живу здесь и сейчас, и я не могу думать только о дальнем будущем, куда направлено всё, что я делал до сих пор. Я — живой человек и человек света и радости, а не «Петербурга», мрака, насилия. Ты всё время видишь во мне кого-то другого. Единственное, что мне хочется сделать, пока я живу как человек, а не просто как писатель, реально помочь тем, кто близок мне, открыть в себе эти источники света и радости, любования и надежды. Это трудно, и, оказывается, никому, никому это здесь не нужно! Нужна внешняя организация, нужна форма, нужно физиологическое или интеллектуальное удовлетворение любой ценой, а сам себе человек не нужен, и Бога в себе ему страшно открыть — легче извне, принять как готовую формулу, сраститься с нею. Здесь вся трагедия русской истории, и на нас лежит вся прошлая кровь, и от нас же истечёт кровь будущая. Почти никто, никто не чувствует этого. Раньше ты чувствовала, а теперь ты сама, помимо своей воли, вовлечена в круговорот насилия и бесконечных умножаемых временем обид. И твоя измена не в том, что ты перестала любить меня и стала любить кого-то другого, но в том, что с этим, другим вошло в тебя семя зла и недоверия к жизни. Вот откуда и короста. Нет раскрытых глаз, есть усталость, нет настоящего внимания ко всему, что вне тебя, — есть полуравнодушное слушание, вероятно, какая-то тупая слабая боль, почти не ощутимая, только твоя боль. Так живут почти все, и эта жизнь хуже ада. Машенька, да очнись ты! Где прежняя твоя чуткость ко всему живому! Мне тоже сейчас очень плохо — и не только от того, что ты не любишь меня. С этой мыслью я уже однажды смирился -16 лет назад, так что мне не привыкать к ней: всё знакомо, одиночество моей любви длилось не меньше, чем одиночество твоей. Но это не самое страшное. Хуже, что я ничего не знаю о том, как мне теперь жить. Я не знаю, что делать. Не знаю, как писать, хотя пишу много — естественная защита от боли. Какая-то растерянность во всём. Я знаю главное — это нерв жизни, её пружина, но я не знаю сейчас реального пути для выявления этого главного, для служения

176

ему, то есть потерял csou путь. Понимаешь ли ты меня? Боюсь, что нет, или не так понимаешь, навыворот понимаешь, в чём за последнее время не раз я убеждался. Тут, конечно, только мои дела, тебя они не могут касаться и вряд ли по-настоящему интересны тебе, но, обращаясь к тебе, я всё время чегото жду — какого-то самого глубокого, подлинного понимания — и этого не происходит, потому что сейчас тебе недосуг выйти за рамки своей обиды и боли, своего равнодушия. Действительно, тут не до моих забот и не до каких-нибудь стихов. У тебя всё другое. И всё-таки кое-что из последних стихов я пошлю тебе, хоть это и бессмысленно. Просто не могу оторваться от твоих любящих глаз — такими они были, когда ты раньше читала стихи, и тогда ты чувствовала, что это за счастье и что не поэтом создаётся что-то в поэзии, а всегда — двумя, и второй — это единственный слушатель его². Но вот стихи.

Три отрывка о природе летнего света

Τ

Светло. Но самый свет несозерцаем. На переломе северного лета растеряна душа — естественного света ей мало, как бы ни было светло по вечерам. Я прожил с ожиданьем, что всё изменится, но не произошло ни чуда, ни последней катастрофы.

Политика в Москве, а здесь — кинематограф, не жизнь, а съёмочные пробы на фоне Всадника и ангелов недобрых.

Я прожил, гробя каждое мгновенье для вымышленной этой красоты, для сей симметрии смертельной! Я сделался литературной тенью — и вот светло. Глаза мои чисты: не видение в них, а плоское виденье, как души смотрят с высоты³

на помещенья прежние свои. Светло по-прежнему. Как некто из романса, перебирая старые бумаги, наткнёшься на признание в любви. Я предал всё, что мог для магии словесной! В Москве — политика, а здесь настолько тесно

и так $\mu e \nu e \lambda \circ e \nu e \kappa u$ светло, что легче устоять при совершенном мраке.

TT

Влажный, тёмный свет в июне. Те, которых помню, ртутной тяжестью в меня втекали — тяжестию. Узнаванья труд медлительный и трудный в душнопокаянном свете. Лето протекало в тучах, в яминах и пропаденьях — в толще сплющенного сердца

III

двигалось, кровоточило...

И сорвал натюрморт со стены. Я не след, я не пятнышко быта! С незапятнанной стороны пусть ко мне обратится бумага, перед образом жизни раскрыта,

перед каждым карандашом, перед каждым дрожанием света. Я— не след, я не столь отрешён— и не зритель. Моя дальнозоркая влага изнутри, из невидимой крови согрета.

И повесил картинку лицом к жёлтым, неосвещённым обоям. Вещи мёртвые съедены белым листом, и любимые люди всегда не с тобою, но пускай остаётся и дышит любое

прикасание к чистому полю, где есть лишь надежды скользящее изображенье, и такое — что глаз никогда не отвесть, и такое — что зренье всегда безответно... И когда отвернулся — почуял движенье за спиною.

Не знаю, о чём скажут тебе эти стихи. Опять же не знаю — хорошие ли, да меня это сейчас и мало заботит. Мало вероятно, что ты увидишь в них то, что через них открылось мне. Но тут уже твоя беда. Прости, что потревожил ещё раз. Витя.

ΙV

<03.07.1978>

Машенька, прости, что извожу тебя своими письмами, — а я отсылаю далеко не все, и прости, что я вообще существую со своим занудством и резонёрством. Но действительно вот уже почти год живу, как какие-то полчеловека, и только когда вижу или слышу тебя — оживаю. Λ учше бы ты и в самом деле физически убила меня. Всю ночь я пил с Милой Чистович 4 помнишь её квартиру? И алкоголь, и полуинтеллектуальная-полупустая беседа не смягчают боли, ни того ощущения, что тебя в мире только половина. И такой прекрасный день сегодня — по-настоящему первый день лета, и народу на улицах мало, и воздуха совсем не чувствуешь как чего-то чужого телу. Мама умерла ровно два года назад, 15 июля, меня не было дома: накануне мы с Таней где-то пили, а до этого был сплошной день уроков. Мы ночевали у друзей Тани, и вдруг, часов в 8 утра — звонок. Это звонил Лев Александрович⁶. Он сразу всё и сказал. Всю весну позапрошлого года я с ужасом ждал, когда это произойдёт. Последние полгода мама жила на наркотиках: сначала один укол в сутки, потом два, потом..., и сплошная физическая боль, и когда я приходил с Курляндской — меня охватывало чувство вины и бессилия, и ничего нельзя было сделать. И я молился — на улице, переходя Московский проспект, ведя уроки, ссорясь с Таней. Я молился и просил, чтобы это случилось не сейчас, а немного хоть попозже, и чтобы не было этой боли, этого слёзного тумана в глазах у неё. Мы поехали на такси на Петроградскую, я весь стал как деревянный. С нами ехали в центр — Танины грузинские друзья. Они не знали маму, а меня видели второй или третий раз. И всё же в них было больше сочувствия, чем у Тани, которая — и мне это было тогда мучительнее всего — воспринимала весь этот путь как докучливую и случайную семейную необходимость. Дома было завешено большое зеркало — мама умерла ночью; папа тогда спал в той комнате, где я сейчас живу, а мама лежала в большой. Папа не отходил от неё несколько последних суток, а в эту ночь там дежурила одна наша дальняя родственница. Шторы на окнах были опущены, всё законопачено, и хотя всё произошло несколько часов назад — в комнате стоял запах разлагающегося тела. Я ничего не понимал и, казалось, ничего не чувствовал: как бы не стало опоры — я просто упал, меня не держали ноги. Таня покрутилась дома полчаса, потом у неё обнаружились другие дела, и она

с явным облегчением смылась. Потом были люди, которые почти скинули маму, взяв простынь с двух концов, как лодку, — на пол с дивана, действительно скинули, а потом был крематорий и какие-то ордена, и какие-то знакомые в холле, у кого-то тоже умер кто-то — дальний. Я не знаю, зачем именно тебе и именно сейчас пишу об этом. С таким же успехом можно было вести дневник или писать — и уничтожать что написано. Да и ты сейчас совсем уже, совсем чужая. Наверное, поэтому пишу именно тебе, что люблю тебя, и по какому-то неуловимому признаку теперешнее состояние моё похоже на тогдашнее, только тогда было не до стихов, почти полгода я вообще ничего не писал, кроме одного стихотворения, которое никому, кроме меня, непонятно и неинтересно. У меня сейчас такое же чувство, что умирает единственно любимый человек, как было тогда. И тогда, в день перед смертью мамы, я молился о её здоровье и жизни особенно сильно и долго: на улице, в троллейбусе, в такси. И все эти дни я молюсь о том, чтобы ты была счастлива и чтобы наконец раскрылся перед тобой весь тот прекрасный, дрожащий любимый мир, в котором тело не чувствует окружающего воздуха — как сейчас на улице — только не на один день открылся, а на всю жизнь. И чувствую, что эта мольба ещё больше отдаляет нас друг от друга. Прости меня, занимайся своими делами и не страдай от того, что не можешь помочь мне. Ни ты, ни я в этом не виноваты, и не надо было видеть тебе в моём появлении нечто насильственное, неподлинное — тут было ложное зрение, и с этого всё и развалилось. Тебя слишком «укатали», от этого и вся боль моя, и нервозность. Прости, что потревожил тебя. Твой Витя.

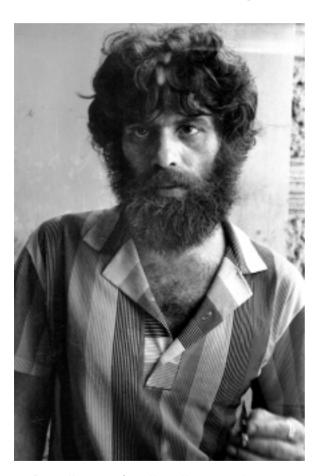
٧

<06.07.1978>

Маша, читаю твоё письмо и ничего не понимаю. Это все как разговор глухих: или я схожу с ума, или ты уже давно не в себе. Чего ты ждёшь от меня, что я могу замышлять против тебя? О каком «камне за пазухой» ты говоришь? Неужели ты и вправду видишь во мне этакое кровососное и злобное существо, какое создано в твоём воображении за то время, пока мы не виделись, и ты спокойно наделяла меня чертами других людей. Но чем же я-то виноват, что твоё воображение создавало этот образ, — создавало, будучи подталкиваемо и направляемо людьми, которые не знают ни меня, ни моих действительных пороков и грехов. Я не демон, я не сверхчеловек, и кому как не тебе это знать! Ты что, не знаешь, что я никогда не поступал, имея какой-то предварительный расчёт? Ты действительно думаешь, что я настолько головной человек, настолько эгоист, что всё время живу только своим брюхом? Ты что, действительно думаешь, что «профес-

сиональное творчество» есть настоящая защита? Кажется, ты сама не понимаешь, в каком ослеплении сейчас живёшь. Говоришь о какой-то «большой мысли», которая как бы должна спасти тебя. Неужели тебе непонятно, что жизнь это и есть главная мысль? Раньше ты это знала всем существом своим — потому я и любил и люблю тебя. Тебе что, и вправду нравится то полутупое состояние, та человеческая израненность и незаполненность, в которой ты сейчас живёшь? Да, я был виноват перед тобой, но не в том, что ты на меня навешиваешь. Неужели я только брал от тебя, ничего не отдавая? «Сидя за столом» и «талантливо» ведя «запись своих чувствований», ничего, кроме одиночества и муки, не высидишь. Тебе разве неизвестно это? Мои стихи «завели тебя в тупик». Да и стихов-то моих настоящих ты не знаешь: они написаны после того, как мы расстались, — и там больше тебя, чем в том, что было написано рядом с тобою. Ты, кажется, ничего не поняла в том, что происходило с нами — с тобою и со мной. Какой заразой заразили тебя? Никто не может вытащить себя из болота за волосы. Нет одиночек, исключая тех, кто сам себя обрекает на одиночество. Отчего ты так боишься, что моя любовь есть средство найти для меня выход? Я не знаю, так ли это. Думаю, что без этой любви мне было бы проще и спокойнее жить, и это был бы выход, нормальное человеческое течение жизни, обрести которое мне необходимо. Всё у меня рушится — из-за этой любви. В ней причина кризиса. Я просто не могу больше держать её в себе. Это невыносимо. Тебе стало непонятно, как это может быть — жить без всякой задней мысли, с одним голым чувством отсутствия любимого человека? Ты забыла уже, как это бывает? Страшно, что забыла. Читаю твоё письмо и только диву даюсь: откуда столько злобы и желчи. Ты и вправду думаешь, что у нас было «соревнование»? Неужели это правда? Я жил с тобою и любил тебя, а не «соревновался» с тобой. Ты была неотъемлемой частью моей души — как я мог с этим соревноваться? Я старался убить в себе эту часть, мне казалось, что наши отношения «слишком человеческие», и в этом-то была моя трагедия и главное моё непонимание. Больше ничего не было. А убить ничего не удалось — мне не удалось. Ты что, думаешь мне нужна «жертвочка» или опекаемая овечка? Ты, что ли, понимаешь «помощь» как «подчинение»? Господи, отчего так извратилось всё в твоём сознании! Ведь я действительно люблю тебя, и отчаянье моё от безнадежности этой любви. Да плевать мне на все стихи — они только з μ аки жизни и знаки подлинной поэзии. Я не оставляю их позади, это неправда. Если бы ты видела, как я сейчас пишу, и как возвращаюсь к прежним стихам, и что нету «забвения» в том, чем я занимаюсь, ты бы не стала писать о «несвойственной мне прямолинейности». Всё говорится не то, всё наоборот, Господи, неужели действительно я произвожу такое впечатление! Какое у тебя «на сегодняшний день — поражение»? Хотя бы одну душу спасти ценою своей — и нет

большей победы. Ты надорвалась, но остались же в тебе чистые источники! Неужели безвозвратно уходит вся радость и всё чувство жизни. Тебе есть и будет ещё за что благодарить меня. Мы действительно жили друг другом, и хотя всегда всё выходило по-дурацки, это была настоящая, невыдуманная жизнь, не ложная. А раз была, значит, и есть, и будет. Моя жизнь многому меня научила. Меня научила многому и первая реальная смерть, с которой я близко столкнулся. Я только тогда почувствовал — всем телом, — как реальна жизнь, а жизнью для меня всегда была ты, как бы я ни относился к жизни, как бы ни убегал от неё — «в эмпиреи чистой мысли и поэзии». Вот что было ложью и фикцией. Только сейчас я нашёл формулу для этого: «поэзия — это жизнь во всём напряжении, жизнь каждой клеткой», и вовсе



Виктор Кривулин. Фото Марии Ивашинцовой, 1970-е

не судорога, и вовсе не нечто головное, как ты её сейчас видишь и чувствуешь. Ты действительно слепа. Что я могу поделать? Я не могу разодрать твои ослепшие глаза. Я не могу влить в них тот прекрасный мир, которым окружен. Ты говоришь о «моём окружении». У меня нет людей, почти нет, с которыми я мог бы быть самим собой, а не просто естественным и живым собеседником. Маша, родная моя, ты даже не знаешь, как я живу последние полгода ожиданием твоих звонков и встреч, и это не увлечение, не бездумная страсть, это выстраданное ожидание выстраданное и тобой и мною. Неужели это и есть «ложная мысль», о которой ты пишешь? И тебе есть ради чего шагнуть ко мне. Некому мне передать то, что больше всяких стихов, и то, чем стихи живут, — какуюто невероятную, сумасшед-

шую красоту и энергию, пронизывающую все предметы, всех людей, которых я вижу. Я живу как бы перед морем возможностей, и вся моя горечь только оттого, что в моих знакомых эти возможности умирают. Мне трудно жить с этим одному — так этого много — и радости, и горя. Я не писал мёртвых и искусственных стихов, но некоторые из них умирали и засыхали, как цветы, а с другими происходило чудо — в них оживали возможности тех людей, которых я знал, — и то, что было убито ими самими или внешними обстоятельствами. Я пишу как бы о себе, но почти все мои стихи — о других людях, и когда я пишу, я становлюсь тем, о ком я думаю. Это счастье и это спасение не столько для меня, сколько для других. Я ненавижу смерть. У моей жизни действительно есть как бы единственная сверхзадача — не дать умереть тем, кого я люблю. Я раньше думал, что это возможно только запечатлеванием в слове, но, оказывается, этого мало, то был детский романтизм. Несколько лет назад я понял, что на это нужна вся жизнь. Но я один, у меня ничего не выходит — и что такое моя жизнь? Она тоже оказывается ненужной никому. Мне тяжело от полноты жизни, а не от отсутствия её. Почти не осталось тщеславия — а с этого всё начиналось. Я сегодня слушал Бетховена — в его музыке (увертюра II)⁷ какая-то натянутость, такое тягостное стремление — результат выбора между искусством и жизнью. Такого выбора на самом деле нет. Он - ложь, фальшь, и эта фальшь проскальзывает в прекрасной, сильной музыке. Выбирая искусство, мы выбираем жизнь во всём её движении, а не только ту сторону её, которая становится предметом нашего искусства. Нельзя сейчас жить искусством, но оказывается, что единственное настоящее искусство сейчас — это вторжение в бесформенную, убогую, бессмысленную жизнь и обнаружение в ней смысла, красоты, цельности и собственной её формы, обнаружение — а не навязывание. А всё, что я говорю, ты воспринимаешь, как навязывание чужого, хотя мне хочется только обнаружить тебя — и чтобы твои глаза раскрылись. И ничего не выходит. Сейчас я начал много читать — единственное спасение, пока ждёшь телефона, а звонят другие люди. Хотелось бы увидеть тебя на дне рождения⁸, хотя бы утром или днём, пока не придут гости. Хоть позвони мне. А к тебе я больше никогда не приду, в эту комнату, где всё чужое и временное. Есть такие комнаты, я знаю их несколько, где жили люди в то время, когда они были несчастливы. Я это чувствую, когда прихожу, но именно потому и прихожу, чтобы принести хоть какое-то тепло, хоть что-то другое. A к тебе не могу — вс \ddot{e} режет и отталкивает меня. Так что зря пишешь, что приезжать к тебе не надо. Я ведь уже обещал, и, как ни тяжело, не приеду. Всё-таки ты думаешь обо мне очень плохо и судишь, как о другом человеке. И действительно, откуда тебе помнить — всё заслонено и моей и другими обидами. Но ведь надо же видеть то, что перед глазами, а не то, что в голове! Ты можешь не любить меня и забыть, что любила, и считать это всё «ложной мыслью», но нужно же смотреть, с кем ты

имеешь дело! В тебе всё перепуталось. Я не могу тебе дать свои глаза: они только мои - но где же твои-то! Или ты до сих пор видишь во мне того эгоистичного полуребёнка, для которого твоя любовь была чем-то должным, чем-то естественным и потому «мешающим духовному росту»? Я знаю свои пороки и грехи, я стараюсь как-то обуздывать их, часто мне стыдно за себя, раньше этого не было: жил в самозабвении и от этого причинял окружающим горе. За это время я научился видеть и не оценивать только интеллектуально, как было прежде, других людей, не обольщаться ими, но и не быть к ним равнодушным. А началось всё с памяти о тебе, с памяти — с которой я честно и небезуспешно боролся, и гнал её от себя, боясь разрушить жизнь другого человека, — свою я уже видел разрушенной. И так было два раза. Я отправлю это письмо вместе с двумя другими: одно старое, написано больше месяца назад и не отправлено, осталось в бумагах. Там — просто история одного стишка. Более ранних писем не сохранилось, я их выбросил, а писал и не отправлял год назад, два, четыре и лет шесть назад, перед женитьбой на Ане9. Жалко, что тогда не отправил. А второе письмо написано вчера, в нём - то самое же состояние, что и сейчас. Мне пришлось вскрыть конверт с ним — он измят и разорван, это я сам, а не почта или кто другой. Ладно, прощаюсь. Позвони мне 9-го. Витя.

۷I

26.05.78

Машенька! Сейчас шесть утра. Я не могу уснуть. Поют птицы за окном. Утром мой поезд в Москву. Я лежал ночью, как в мышеловке. Вдруг почувствовал тепло своих рук — одна лежала на сердце. Сердце болело. От руки исходил жар. Я почувствовал, что сейчас могу сделать всё, что угодно: вскрыть вены, просто умереть от разрыва сердца, даже не от разрыва, а от какой-то мучительной сердечной жалости ко всем жизням, рядом с которыми текла моя жизнь, — к тебе, к Миму, к Ане, к Татьяне, ко всем, кого я знал и хоть как-то прилеплялся душой или мыслью. Она сама зазвучала — первая строфа, я не хотел вставать и записывать — тьфу, пропасть какая! Всё было как есть:

На что ни смотрю — глаза как дети больные. Свет не вмещает ни одной слезы. Из центра ладони исходит жар, из ладони, лежащей на сердце.

Я встал и, не одеваясь, сел за стол, попробовал писать дальше. Долго была муть какая-то — «мёртвые дети», фасады, застывшие на полдороге от ремонта к ремонту, и прочее. Но вдруг я отчётливо увидел свою жизнь как

цепь измен и предательств, как какую-то тюрьму добра, и пришёл в страх, что этому добру не суждено вырваться наружу, освободиться из-под душевного спуда. И я вспомнил, как после того разговора с Птишкой 10 , о котором тебе рассказывал, поехал я к Славе Долинину 11 (с мыслью о смерти Ореха 12), а там сидела американка Татьяна, были сумерки, и она рассказывала про самоубийство Роберта. Я вспомнил, и мне страшно уже не себя самого, но того, что открывалось нам во время этого разговора за окном: Нева, по которой очень быстро плыли льдины, и дальше — красноватый длинный фасад тюрьмы — Крестов. Это был не социальный страх — я увидел Кресты как какое-то место заточения наших душ, мне захотелось молиться, кричать, делать что угодно, лишь бы услышать ответный живой голос. И тогда всё сложилось само:

Исцели мне измены мои, разомкни мои слёзные кости! На что ни смотрю — глаза, как двойная тюрьма, выходящая длинной стеною на реку, на ледоход.

Мы смотрели с другого берега из окон холодного дома. Там зажгли прожектор — и окна, все окна погасли сразу же.

Вкрадчивых сумерек было длинным течение, дольше, чем разговор, — не помню о чём. Я на что ни смотрел — оно угасало тотчас, и не оставалось времени омыть и оплакать.

Здесь всё кончилось. Но я не могу уснуть. Прости, что снова беспокою тебя своими письмами. После Москвы я хотел бы видеть тебя. Позвони мне, а то я сам зайду ведь. Я буду в городе 1 июня. Целую. Витя.

VTT

Маша, это второе письмо за сегодняшний вечер. Скорее всего, это странички из дневника, обращённые к тебе. Письмо это я тоже отошлю. Хотя бы разговор в одну сторону — но всё разговор, и больше, чем разговор — для меня. Ты сейчас глухослепонема ко мне, и меня как бы уже не существует. Но всё не так. Последние дни живу в постоянной душевной дрожи — звук голоса у окна, жест знакомого, какой-нибудь намёк или просто словцо доводят буквально до слёз. Это не метафора. Ты знаешь, я раньше

не мог плакать. А сейчас словно с меня сняли кожу, и любое прикосновение причиняет боль. Даже чтение. За окном так красиво — всё серебряное, волшебное и вместе нищее, сосущее — такое небо с тремя неподвижными тучками, и скоро рассвет, вот откроют мост лейтенанта Шмидта — и хлынут машины, а пока тихо. А этот шум ночного потока машин отдаётся в сердце. Сердце у меня начинает болеть — фамильные болезни. Да, читаю, случайное чтение — Скотт Фицджеральд, третий том нового издания. Красивая жизнь и все идеалы на уровне рекламных плакатов: сильные загорелые мужчины, которых любовь ломает, и вдруг они начинают чувствовать необратимоё течение времени. Во всех новеллах есть одна щемящая нота: умирание любви. Она умирает, когда становится счастливой, она умирает, когда она совсем безнадежна. Какой-то странный писатель — кругом алмазы, кадиллаки и горы безвкусицы, а вдруг — прорезается реальной человеческой тоской, она не имеет конкретных причин. Типично американские дела с богатством и бедностью. И вдруг — или я стал сентиментален — чтото как обжигает. Все жизни идут кувырком, и ничего устойчивого — ничего, кроме печали. Какая-то беспредметная печаль. И тогда я ловлюсь: моя, только моя печаль вылезает наружу — этот мой вечный немой крик, которого не слышит никто, и всю жизнь я его старательно заглушаю, всю жизнь, и даже ты его не слышала, когда жила со мной. Тебе было уютно и спокойно, и ты предпочитала не вслушиваться: я был милым, бессердечным, умным, легкомысленным человеком. А я и тогда кричал. И это не крик страха перед смертью, и это не страх жизни. Это совсем другое. Можно назвать как-то приблизительно и банально: боль ко всему живому. В какойто своей точке этот крик может быть радостью, в другой - отчаяньем, но одно не отделимо от другого. Когда видишь любую другую жизнь, даже благополучную и счастливую как бы, хочется кричать от стыда вообще за человека. В нас живёт что-то большее, чем мы сами, со своими интеллектуальными и эротическими делами. Мне страшно ходить на улицах — такие лица прекрасные в своём замысле, в своей возможности — и так всё искажено! Правда, любовь даёт какое-то особое видение, и тогда всё видишь как бы в том виде, в каком это должно было быть, должно было существовать. А нормальному глазу оно видится уродливым и злым. Наверное, знание о человеке есть знание о его возможностях и о том, как он в течение всей жизни по слабости, по природной жестокости, по глупости убивает эти возможности. А я существую как чистая возможность, тут есть обречённость, вероятно, поэт всегда чистая возможность. И правда, я словно проживаю другие жизни, давая кровь из своей. Больно от того, что другие этого не чувствуют, и что это кажется эгоизмом, чёрствостью, равнодушием. А я знаю, что это неправда, и то, что я сейчас пишу — тебе? себе самому? не знаю, — есть правда. Я действительно не знаю себя, но я узнаю своё

в других, и узнавание это — самое дорогое для меня. Я всё-таки никак не могу понять, как можно любить больше, чем одного человека. Это значит никого никогда не любить: ведь если человек уже узнан, от этого узнанного нельзя ни оторваться, ни отвернуться. Всегда можно ошибиться и «узнать» не то, что есть на самом деле, но если хоть раз это узнавание случилось как правда, как последнее знание о другом и о себе — как это можно сжечь и отставить от себя? Какой бы я ни был дрянью, я убеждён, что мы-ты и яэто лучшее, что у нас - и у тебя и у меня - было в жизни, и другого ничего не будет. Я потому и пишу тебе так истерически, и четыре года назад писал и надоедал, когда тебе было не до того. Тогда я думал, что это можно заглушить, раздавить, но оказывается — только с моей жизнью. А сейчас она гроша ломаного не стоит. Не знаю, вскроешь ли ты это письмо и прочтёшь ли. Но ведь мы не только были — мы есть и мы будем, что бы с каждым из нас ни произошло в пространстве. Не чеховская же ты Душенька, в конце концов! А получается, что великий гуманист прав, и женщина действительно не имеет внутреннего облика, а меняет его в зависимости от того, кто близок ей сейчас, кто под рукой. Понимаю, тут не тот тон, я слишком криклив и высокопарен — не твой теперешний вкус, но ты представляешь, что значит для меня увидеть вдруг в тебе чеховскую героиню! Увидеть это в человеке, которого я действительно и любил и люблю и буду любить, пусть как-то по-уродски, но всем своим существом, всей жизнью, как сейчас оказывается. Как странно, это никак не может для меня стать «прошлым куском» жизни, прожитым периодом. Я как бы всю жизнь кручусь вокруг одной точки — а ты живёшь, и ничего, прекрасно перестраиваешься. Видимо, я не понимаю чего-то очень простого. Нет эмоциональной гибкости, что ли, какой-то инстинктивной изворотливости. Издали я, наверное, кажусь человеком хитрым и коварным — самое печальное, что и ты меня воспринимаешь так. Но ведь хитрость-то моя вся — дурацкая, настолько, кажется уж, очевидная всем и каждому, что никого не может обмануть. Да и никогда во мне не было этого желания выдать неподлинное за подлинное, обмануть, унизить кого-то. Скорее, расплачиваюсь сейчас за бессознательное зло, за то пренебрежение ко всему внешнему, которое считал до последнего времени чуть ли не главным своим достоинством. Всё, что было пережито тобою, — пережито и мной, да ещё с лихвою — трижды в жизни это выходило наружу, как гной из нарыва, а потом я жил дальше, затаптывая и убивая в себе свою первую любовь, - и ничего не получалось. Может быть, это ошибка. Но тогда это ошибка всей жизни, и кто же такой тогда Бог, коли он допускает так ошибаться? Если это — действительно ложь и неподлинность, то мне остаётся только самому пресечь свою жизнь. Не от отчаянья — от чувства бессмысленности её. Это не просто слова. Сейчас у меня такое состояние, что я спокойно сделаю всё, что нужно, если пойму, что всё между нами — фикция. Поэтому и пишу тебе, я сам хочу разобраться, если ты не можешь помочь мне. И если ты увидишь это моими глазами — и только ужас и омерзение останутся в тебе, как есть сейчас, то, значит, и я ничем не могу уже помочь ни тебе, ни себе. Витя.

VIII

22.08.78

Машенька, ты вчера даже не позвонила. Я понимаю, что ты, наверное, очень устала и всё прочее, но если бы ты могла почувствовать, как необходимо мне было хотя бы услышать твой голос! Всё глупо как-то выходит. Всё лето я живу, как какие-то полчеловека. Даже писать ничего не могу — кроме писем тебе. Это, действительно, на первый и сторонний взгляд так пошло и «несвоевременно» — но что делать со всей жизнью, которая оказывается без тебя какой-то мусорной свалкой, лишённым смысла и света набором лиц и действий? Я люблю тебя, и ничего, кроме этой любви, у меня сейчас нет. И, кажется, не было никогда.

ΙX

23.09.78

Крым, пос. Планерское (Коктебель)

Радость моя, Машенька! Живу здесь уже третий день. Ещё ни разу не купался, хотя теоретически вроде и не так холодно: вода 20° , воздух — 19. Но есть холод душевный, какое-то онемение внутри, от которого постепенно оттаиваю, но очень медленно. Чувствую себя немножко лучше. Сейчас сижу у моря на бетонном моле, и всё моё существо блаженно и бессмысленно растворяется в медленном ровном ритме набегающих (точнее было бы сказать — наслаивающихся на берег) волн. Вокруг в дымке — горы, обегающие полукругом залив. Справа — туманный край горы со слабым профилем откинутой несколько назад, на затылок, головы Макса Волошина. Местная достопримечательность. Несмотря на то, что здесь много моих знакомых (почему-то сплошь московских, ленинградцев — нет), как-то остро и сладостно ощущаю — не знаю даже как назвать это... Одиночество? Нет, не то. Внутренний покой?.. Тоже не то. Скорее — скорее, какую-то телесную плотность тишины, как некую платформу, которая лежит в основании «я». Читаю Данте, прозаический перевод «Ада», и зависть берёт, аж под ложечкой начинает сосать. Мы как-то с тобой говорили о трагедии и трагическом. В этом смысле Данте круче Шекспира — у него есть самое ядро трагического — ещё не театр, не драматизированное действо, но какое-то непрерывное, волнообразное нарастание и снятие катарсиса. Такое ощущение, что напряжённейшая точка действия — кульминация —

присутствует в каждой терцине или, по крайней мере, в каждом эпизоде и уже в своём крайнем, конечном виде, а читаешь дальше — и напряжение усиливается, хотя, казалось, уже некуда дальше усиливаться. Странно мне, до чего неожиданно реализуются мои размышления: стоило мне подумать о трагическом пространстве у Данте, о «сценичности» его протодраматургических эпизодов, как испортилась погода, стало холодно, пошёл дождь, задул ветер из степи — буря! — и возвращаясь ночью домой от Марьи Николаевны Изергиной¹³, совершенно больной, трясущийся, с жаром и температурой выше 38°, я разговорился с полузнакомым москвичом Сашей — другом Изварина 14 , — и оказалось, что он только что закончил статью о соотношении театрального и городского пространства в средневековой Европе и что для него, так же как и для меня, очевидна мысль о существовании особого, «трагического», пространства, которое создаёт зрителя и в то же самое время создано зрителем. Это — пространство-встреча, пространство, солёное и яркое, как кровь человека (оно — всегда внутри, а когда изливается изнутри, то человек гибнет или становится бессмертным). Тут нет никакой мистики. Была буря вчера ночью — и прерывистый, захлебывающийся разговор, касающийся самого для меня существенного. А сейчас я опять сижу около тихого вкрадчивого моря, и жарко, и тихо вокруг, и я боюсь купаться, и сейчас буду читать Шекспира, а потом всё-таки полезу в воду, хотя разумнее этого не делать. И всё время я думаю о тебе, обращаюсь к тебе — письма «проскальзывают» это обращение — и всё время чувствую твоё присутствие. Пиши мне. Буду здесь до 3-го октября. 5-го уже в Москве. Целую тебя и люблю. Твой В. Кривулин.

Χ

Машенька, с огорчением получил от тебя «самоедскую» открытку с ламентациями по поводу невозможности обрести Истину, почву и т. д. Да что ты в самом деле, сдурела, что ли! Если в тебе возникла, как какая-то червоточина и гниль, невозможность жить, то это вовсе не значит, что с невозможностью этой нужно носиться, лелеять её как нечто ценное, что приобретено «в результате опыта». Что проще — Истина происходит от слова ЕСТЬ (Естина — так говорили наши предки — этимология Π . Флоренского). И вовсе не надо искать истину — она есть, и есть в тебе самой, и она обнаруживается сама, в то самое время, когда ты менее всего об ней помышляещь; и вовсе не от того она обнаруживается, что ты её из себя «ножом выковыриваешь», наоборот — чем больше её выдавливать, тем менее вероятно, что она обнаружится. Ты, родная моя, пишешь так, как будто ты одна, а это ведь не так, и весь смысл любого разговора об Истине упирается в сознание своего бытия как чего-то не-обо-собленного от бытия Другого.

Моя не-обо-собленность и есть моя основа, почва, на которой стою, вернее, почва — из которой расту «поистине». Ты тоже такая. А начинаешь плакать и жаловаться, садовая голова! У тебя прекрасная жизнь. Ты любила и будешь любить — никуда этой своей способности ты не денешь! И тебя любят. Значит, для тебя всегда есть Другой — как актуальность и как возможность, а это есть для немногих людей: большинство видит и слушает только себя, только своё. А ты обижаешься — и сразу хочешь замкнуться, «обратно стать камнем». Да неужто не чувствуещь ты, милая моя садовница, голова твоя садовая, какие в нас есть ресурсы счастья и какая крепкая под нашими ногами почва, и как она держит — словно на облаке стоим, на поставленной нам длани! Естественно, когда заглянешь вниз, — тут тебе и бездны, тут тебе и провалы, тут тебе и обрывы. Но тебя-то держат, именно тебя, Марью Юрьевну Ивашинцову, — и держат не абы как, а — с любовью. Вот здесь-то и начинается Чудо, истина в самом своём настоящем виде — на-стоящем! Прости за дурацкие рассуждения, но ты сама виновата: не фиг тосковать и маяться, хватит! Конечно, мне как бы легко говорить, я вроде бы на курорте, и погода здесь хорошая, и море, и солнышко, и «бухты крымские». А ты, бедная моя, маешься в сырости и холоде питерском,



Мария Ивашинцова. *Фото Бориса Смелова*, 1970-е. Из архива М. Ю. Ивашинцовой

у тебя беготня и всё прочее. А может, у меня каждый день по нескольку часов так брюхо болит, что я нескольких шагов сделать не могу, до пляжа дойти, а при этом каждый день, таскаюсь на почту в надежде получить от тебя письмо или открытку. Что из этого следует? Чем мой юг тогда лучше твоего севера? Почему бы и мне не впасть в тоску беспросветную: жизнь уходит, всё болит, любимая моя не любит меня и т. д. Но вот что делать чувствую я под ногами почву — и никакая холера пока не бёрет души моей. А ты боишься, что не чувствуешь, ты впадаешь в уныние, а на самом деле кому как не тебе дано это чувство почвы? И страхи твои дурацкие, как шутки того боцмана из анекдота про «Титаник». Ты себя «изъела», ты ночей не спишь — отчего? У меня болит брюхо, я чихаю и кашляю, меня тошнит и всякое другое, а я улыбаюсь: есть такая ровная, перекрывающая всё, что я вижу вокруг и слышу, такая ровная, тихая мысль: я думаю о том, что есть ты, просто думаю об этом, и мысль эта вошла в меня, как молитва, которая звучит в сознании монаха, даже когда уже не произносится ни вслух, ни про себя. Вот ты есть, живёшь, и, если Бог даст, я скоро увижу тебя — и от этой мысли радостно. И не надо было волноваться за меня — достаточно просто улыбнуться, когда вспомнишь обо мне, - и, ей Богу, мне станет легче даже физически, как бы плохо ни было, — твоя способность к со-чувствию куда мощнее, чем моя, она — твой главный и самый замечательный дар, а ты им чёрт знает как распоряжаешься — всё равно как гвозди забиваешь японским транзистором. Уф! Никогда таких длинных моралите не произносил, не писал тем более. Я ведь понимаю главное — мы с тобою счастливые люди, и не надо грустить и суетиться, Машенька! Мне эта жизненная и душевная суетливость в своё время все кишки выела, до сих пор страдаю! Надеюсь, это письмо ты получишь до отъезда в Москву — было бы хорошо. Кроме того, что я всё время думаю о тебе, вернее — благодаря именно этому я много читаю и много говорю с разными людьми о вещах, которые мне сейчас очень интересны. Но все постепенно разъезжаются — скоро тут станет скучно. Вокруг очень много курьёзов и смешных ситуаций. Сегодня, например, я выслушал лекцию «Волошин и точные науки» с приложением в виде романсов на слова Волошина (аккомпанировал лектор, пела уже помянутая мною М. Н. Изергина). Особенно произвела впечатление публика — глухие старушки и горняцко-криворожского вида писатели (в смысле — кривые рожи, по которым как бы возили копировальной бумагой вместо наждачной — для шлифовки). λ ектор — совершенный шиз, но очень милый, говорил дамским голосом, нёс совершенный бред насчёт «пророчеств» Волошина: обычная песня — атомная бомба, тепловая смерть Вселенной и т. п. Таких культурно-просветительских событий здесь мильон. Но есть и настоящее. Сегодня перечитал «Европейскую ночь» Вл. Ходасевича. Он, конечно, не «большой поэт» в тривиальном смысле

этого слова, но он поэт самый настоящий и чистейший. Его вкус безошибочен, но именно в этом заключается для меня какое-то странное впечатление, которое иначе как словом «старомодность» не выразишь. Это минуспоэзия, поскольку основана она на глубочайшем и трагическом неприятии всего сущего, всего, Ходасевичу современного, это поэзия, последовательно критичная по отношению к жизни, так сказать, безукоризненно, с точки зрения вкуса, критичная. Но оказывается, что хороший, даже безукоризненный вкус, в первую очередь, — понятие негативное, и поэзия, в основу которой положено «вкусовое» (и безошибочно точное при этом!) неприятие жизни — неприятие жизни как пошлости — эдакое неприятие «сегодня» с точки зрения некой «по \mathfrak{I} тической вечности», и горечь, и злость — как следствия этого неприятия — оказывается: всё это делает такую поэзию уязвимой именно с точки зрения «вкуса» — она становится чем-то вроде бабушкиного платья, которое, казалось бы, сшито так, что и сегодня могло бы оказаться сверхмодным — именно сегодня такие вот рукавчики — пуфы или простроченные выточки — непременные атрибуты моды, но в том, $\kappa a \kappa$ сшито бабушкино платье, есть неуловимый «ветер того времени», и носить его поэтому как «модную» вещь нельзя. И чем лучше был портной, чем изысканнее материал и фасон, - тем больше оно - вещь своего и только своего времени. Но стихи — не платье. Они рассчитаны на смену «вкусов», их должны читать, а не носить, они не стареют вместе с твоим телом, с твоим временем. Но если они были слишком внимательны к твоему телу и твоему времени, пусть даже критически внимательны, они подпадают под закон моды. Это происходит с Ходасевичем. Но иногда — точность и деталь, почти прозаическая, прямо пронизывает. Сейчас я перепечатываю эти стихи, приеду — покажу. Здесь мне дали машинку, и целыми днями, пока была плохая погода, я только и делал, что печатал стихи — свои и чужие, у меня просили многие. А ещё читаю Шекспира — читаю и матерюсь: головы бы поотвинтить этим переводчикам стихов. Проза — человеческая речь, как идут стихи — какая-то тарабарщина и какофония, словно бы у всех у них уши заложило. А по-английски пробовал читать — понимаю плохо, а звук — чистый серебряный колокольчик, и даже мат-перемат так у Шекспира звучит. Про Бахман¹⁵ я тебе говорил по телефону. Это современная немка, вернее, австриячка, поэтесса. Всё очень здорово сделано в смысле техники и «лирического звучания», но как обрыдло это немецкое «лирическое звучание», эта псевдоэкспрессивная, литературно вычисленная пронзительность! У меня, когда я это читаю, — почти чувство ужаса. Почти фантастическая по богатству ассоциаций и размышлений, ходов и приёмов литературная техника, с одной стороны; полная и совершенная человеческая открытость, «откровенность», искренность — с другой. А вместе — пустота и чувство обманутого ожидания — чеховский кукиш с маслом.

Отчего это происходит — какая-то принципиальная безосновательность, бессодержательность современной литературы? От потери масштабов? От пресыщенности, переинформированности писателя? От того, что литература подошла к самому краю своих возможностей? Сам я не знаю ответа на эти вопросы, по сути дела они относятся не только к литературе, шире к любому искусству. Рано или поздно везде возникает ощущение, что всё «уже сделано», и остаётся, казалось бы, лишь «Игра в бисер» — перебирание и перекомпоновка готовых элементов, цитирование и т. д. Это чувство порождает целые художественные течения — концептуализм, например. Но это ложное чувство. Впрочем, кажется, сейчас я затеваю долгий, слишком долгий и слишком немонологичный для письма разговор. Приеду мы поговорим об этом. Не могу дождаться, пока увижу тебя, тоскую по тебе очень — и специально оттягиваю приезд в Ленинград: хочется накопить достаточно энергии и внутренней тишины — чтобы и на тебя хватило, и тебе передалось, Машенька, любимая моя! Почему ты до сих пор боишься радости, когда она возникает между нами? Мне кажется, мы оба любим друг друга — и это прекрасно, потому что сейчас — это уже до конца. И здесь нечего бояться, что кто-то любит «меньше» или «слабее» — не бойся ни себя, ни меня. Здесь нет степеней, понимаешь? Целую. Люблю. Витя.

Р. S. Всё же ты балда, что не приехала! Если мама выздоровела, а ты скучала в сырости и серости — о чём было думать? Балда, и только. За неделю столько бы здесь света впитала в себя — и любви, и тепла, и красоты — и Истины. Даже обидно.

XT

<4.10.1978> Крым, Планерское

Машенька, душа моя, здравствуй. Ты предпочитаешь молчать в ответ на мои длинные письма, и это весьма грустно, потому что с нетерпением жду любой весточки от тебя. Жизнь моя здесь вошла вполне в курортную колею, и наконец-то я почувствовал, что отдыхаю. Прежде всего — это чтение — отдых ума. Читаю подряд Шекспира, остановила меня «Буря», которая обычно как-то кисловато оценивается нашими шекспироведами. Но — «мы сделаны из вещёства наших снов» — толкуемоё как идеализм и «пессимистические тенденции в творчестве...» — это едва ли не квинтессенция всего написанного Шекспиром. «Расчисленность» и «преднамеренность» (слова А. Смирнова) действия «Бури» — не отказ от трагической («неразрешимой») коллизии, но гигантская метафора жизни как театра или жизни как книги, эта центральная метафора эстетики барокко

сама в себе таит трагедийный взрыв, но не за счёт драматического напряжения, как в «Гамлете» или «Кор<оле> Лире», а за счёт внутренних ресурсов мысли, — и оказывается, что Просперо — сам Шекспир, или любой художник, художник вообще — то есть человек, вынужденный заняться магией, поскольку жизнь его «обделила» (изгнан из Милана). Власть Просперо над духами временна, почти фиктивна, в своём игрушечном мире он создаёт всё: и поступки героев, и их монологи, и ситуации, но сам Просперо хочет лишь одного — возврата к реальной, безмагической жизни — той простой и человеческой компенсации, которая, в конечном итоге, иначе, чем «сказочная пошлость», не называется. В каком-то смысле волшебство и пошлость — вещи очень родственные, и всякая волшебная сказка есть реализация желания украсить бедное элементарное бытие, которое, если приглядеться, прекрасно само по себе и противится всякому украшению. Это-то свойство бытия лежит в основе «Бури». Просперо — это Фауст, только не научный Фауст, а Фауст от искусства, от «Красоты», а не от «истины». Мы должны, мы не можем не украшать жизнь, хотя сама она в этом не нуждается. Процесс украшения нужен нам, а не ей. И в этом «барочная» трагедия художника. Это лишь тысячная доля моих мыслей по поводу «Бури». Будет возможность — поговорим о ней после. Коктебель — мир тоже игрушечный и очень забавный. Я разговариваю здесь со многими разными людьми, пью, смотрю на горы, которые, как и здешнее культурное общество, находятся «при литературе». Если бы не животная открытость тела солнцу и воздуху, это было бы невыносимо. Вот идёт по набережной бывший лидер «демократического движения», похожий теперь на обделавшегося школьника, Петенька Якир¹⁶, вот вылезает из моря сын Бабеля Миша Иванов¹⁷, художник, друг Вейсберга¹⁸, с разговорами относительно «научности» и непревзойдённости Сезанна, вот будит меня Юра Злотни- ${
m ков}^{19}-{
m тоже}$ московский художник — один из немногих приятных и умных людей для меня здесь. Не знаю, какой он художник, но педагог (ведёт детскую студию при моск<овском> дворце пионеров — «живопись как средство духовного рождения человека») действительно превосходный, тоже «жертва» сплетен Шварцмана²⁰. Мы с ним спорим по любому поводу. Цветаева²¹ уехала, перекрестивши и поцеловавши меня в лоб на прощание: «У вас чистые глаза и чувственные губы. Вы на распутье. Дай вам Бог выбрать духовный путь». Сидя на солнцепёке, читаю Пруста «Под сенью девушек...» Рокочет море и поют птицы. В стене дома, где я живу, — маленькая волшебная дверь в огромный волошинский парк, жаль, что ты не приехала. Здесь бездна московских чудаков — людей действительно весёлых, жизнерадостных и смешных. И погоды установились пока хорошие. Единственное, что омрачает здешнее моё существование, — это твоё отсутствие. Завтра, например, я еду читать стихи под Бахчисарай — в Крымскую обсерваторию. Говорят, что это фантастическое по красоте место. Ночами смотрю на звёздное небо, безуспешно справляясь в звёздном атласе, — до сих пор могу определить лишь десятка полтора созвездий, среди них любимые мною Плеяды или Стожары-сестрички... А завтра ночью буду смотреть на них в телескоп. Напишу тебе оттуда. Очень тоскую без тебя. Люблю тебя. Целую. Витя.

XTT

<4.10.1978>

Машенька, родная моя, не знаю, получишь ли ты это письмо до отъезда в Москву, но мне хочется просто написать тебе обо всём, что со мною было в эти три дня на обсерватории. Только что приехал оттуда и, не заходя домой, пошёл на почту. Там были 2 твоих письма. Я уже было начал беспокоиться, почему ты молчишь, — как ты там жива, спасибо, что написала. Ехал я не один — нас было трое: тот самый Валерий Иванович (помнишь, я тебе рассказывал, как Таня облила его чернилами?) и один очень милый парень из Москвы — худ<ожественный> редактор «Пионерской правды», а на самом деле — поэт-абсурдист, очень живой и весёлый. Ехали через горы, невероятно красиво — я раньше никогда не видел крымской осени: серебристо-голубые склоны, по которым разбросаны яркие красные пятна разной интенсивности: это такое растение — «скумпия», — из которого когда-то татары приготовляли красители для сафьяна. И вдруг — голые, чёрные от моха, с белыми, как по линейке проведёнными полосами и прямоугольными пятнами, — скалы. Совершенная Калифорния. В проходной посёлка обсерватории (она недалеко от Бахчисарая), пока мы ждали того человека, который пригласил нас, какая-то женщина из обслуги срезала и понесла цветы «для писателей». Самым идиотичным было решить, что это для нас, но то была первая мысль, пришедшая всем троим в голову. Оказалось, нет. В вечер нашего приезда приехала бригада писателей из Москвы, и это событие, кажется, определило тот особый, «интимный» тон, с которым принимали нас: мы были «свои», они — «чужие». Народ в обсерватории действительно очень милый, хотя с точки зрения художественного мира не слишком продвинутый. Но это и хорошо — нет снобизма, есть естественность восприятия. Я читал там два вечера подряд, и жалко, что тебя не было: честное слово, никогда в жизни я не читал так. Весь день перед чтением мы пили не переставая пшеничную водку и говорили: о звёздах, о живописи, о Ленинграде, чёрт знает о чём — был какой-то восторг узнавания друг друга. А потом нас привели в их клуб-«дискотеку», где я читал вперемежку с музыкой, — это великолепно. Я был пьян совершенно, в глазах плыл какой-то красный туман, ноги дрожали и подгибались, я орал и чувствовал,

как садится голос (плохая акустика), но — такой полный контакт с людьми — замершие за столиками и в проходах, они совершенно забыли о времени и голосовых возможностях: я кончил читать только потому, что начал хрипеть окончательно — сорвал голос. Вообще ребята там мне понравились не только «чистотой» восприятия — но и вообще чистым своим интересом к искусству: там есть свои художники, у многих коллекции пластинок современной серьёзной музыки — в Λ енинграде и Москве среди неспециалистов такого не встретишь. Днём, на следующее утро, мы смотрели на солнце через особый прибор — коронограф, и вечером к ним приехал гитарист из Симферополя — Анатолий Шевченко 22 , и оказалось, что сейчас — это один из лучших гитаристов в Европе — гитару можно слушать как целый джазовый оркестр. Ты слышала что-нибудь о стиле «фламенго»? Это, собственно, «джаз» древности и средиземноморского средневековья, уцелевший к нашим дням лишь на юге Испании. Фламенго — это и музыка, и танец, и поэзия (Лорка — чистое фламенго). Шевченко — совершенный виртуоз. Я слышал Aнидо 23 и других гитаристов, но у них гитара не звучала так. Тут почти не было гитарной «классики» — ни Гранадоса, ни Де Фальи — одни импровизации; «фламенго» и означает свободное импровизирование в границах жёсткой музыкальной схемы — канонических тем фламенго не так много, но исполнение их предполагает полную свободу импровизации. И гитара звучала, как орган, как громадный оркестр — фантастика! А потом я снова читал. А совсем ночью мы смотрели звёзды в телескоп: Плеяды, туманность Ориона, Юпитер со своими спутниками, Сириус... И всё время, как бы мне хорошо ни было, этот восторг, эту радость отравляла мысль о том, что и ты могла бы сейчас быть здесь со мной — что и тебе было бы сейчас так же хорошо, как мне. Машенька, давай приедем в обсерваторию вместе — зимой, например, недели на две: меня пригласили пожить здесь, один я не поеду, но вместе... Я не то, что «соскучился скучать без тебя», я совсем истомился и, наоборот, всячески стремлюсь заглушить в себе желание видеть и обнять тебя: иначе я просто сорвался бы и махнул в Питер. Но так или иначе мне нужно быть в Москве с 15 по 19, там есть несколько дел, которые необходимо сделать. Конечно, приезд папы сделал мою жизнь здесь более суетной и зависимой, хотя и менее сложной в смысле бытовом. Но зато я стал больше читать. Сейчас читаю Пруста «Под сенью девушек в цвету». При чтении Пруста подымается просто буря мыслей, образуется прорва впечатлений, которыми мне так хотелось бы с тобой поделиться, но письмо этого не выдержит — это уже будет дома. Меня беспокоит твоё здоровье. Я всё время думаю о тебе с такой нежностью, что даже на расстоянии это должно действовать. Не легче ли тебе стало? На это письмо уже не надо отвечать, но если будешь в городе после 15, обязательно позвони мне. Я буду досягаем по телефону Володи Сайтанова²⁴ 463-69-39 или Мишки Шейнкера²⁵ (ты звонила ему, тел<ефон> помнишь, или его сослуживицы Иры Голубинской (она живёт у родителй, а у неё пустая квартира в центре, там, вероятнее всего, я остановлюсь): 209-57-11. Обязательно позвони. Я люблю тебя. Целую и так хочу прижаться к тебе, Машенька, Маша моя! Не грусти. Витя.

XTTT

Маша! Посыдаю тебе стихи, которые в той же степени твои, как и мои, как бы ты ни относилась к тому, что я пишу, с каким бы раздражением ни отталкивала (твой вчерашний приезд!) от себя бедные мои писульки. Надеюсь, это не помешает твоей работе? Ты ведь всё равно мыслишь себя вне этих текстов. Но пусть будут у тебя до времени, когда найдёшь себя внутри их. Не злись на меня и не мучайся по своему поводу. Всё это ненастоящие чувства и глупые мысли.



Мария Ивашинцова. *Фото Бориса Смелова*, 1970-е. Из архива М. Ю. Ивашинцовой

А что подлинно — то никуда не девается: нужно только обнаружить это под шелухой наших жизненных историй и держаться этого до смерти, а то и после. Впрочем, ты сама всё знаешь, если не находит затмения. Витя.

* * *

В ночь оккультизма швыряет одних, а другие в тусклом живут шевелении плоти — бездна меж ними, а не возвращенье к природе не голубые леса, но глаза очевидцев нагие.

Чем же оденется зримая тьма любованья? Что предстоит нашей жажде любовию света? Магия — справа, а слева — народная лета с цирком семейным, с отдельной судьбой издыханья.

Как же ожившей душе избежать разделенья на части вот и друзей моих трещина делит земная на два боящихся лагеря — на два разорванных края тело единой страны — это странное тело несчастья.

лето 1978

* * *

Сердце издали смотрит на смутное тело. Со мной остаётся белесая лента, небесная лента, и сознанье, что всё невозможно, — и зной как насилье над лёгкими в области лета

Тяжесть нашей истории — горб золотой И кровавый. Согбенный пейзаж мессианства Открывается сердцу как путь поражения. «Стой!» — говорит обнажённое женское тело пространства.

И стоишь с посошком и котомкой, со светлым лицом, старец дебрей лесных и горушек песчаных, — сухорукий молитвенник, слух наполняя свинцом

тишины, разлитой на полянах.

И стоишь над землею возлюбленной странником и пришлецом, ненавидимым ею за общую ношу печали.

лето 1978

<09.02.79>

* * *

Сияние и обнаженье
Свечение подземной белизны
Лежит обмолвленная тайна
и мы широким снегом смягчены
и мы расширены до головокруженья
как под увеличительным стеклом
неузнаваемые наши очертанья
Там выплывают буквы друг за другом
гигантские волосяные арки
там слово строится по эллипсам и дугам
безуглый дом спасенья и письма
начертанного мелом на снегу

* * *

где трещина — там речь. Расколотая глыба. О, камень голоса — античные черты. У гипсовой улыбки, у изгиба мелькает змейка темноты волосяной источник смысла Летит моё лицо, лишаясь высоты, — подвижное но высохшее русло — в ненужной смене выражений в морщинах мускульных гримас Летим, лицо моё, в безлучезарный диск где маска высветляет нас!

* * *

учись у изувеченной природы терпенью побеждённому терпеньем Орлом искусственным и бронзовым оленем увенчаны картинные высоты Где скульптор, подражатель твари? Сошёл под землю так же некрасиво как пожирал туман на перевале оленье туловище, тучную поживу Где узнаватель живности железной

горняк из криворожья и учитель из киева? Постойте. Замолчите. Они действительно исчезли

* * *

От любящих нас научаемся боли от любящих боль Сквозь обруч пылающий, сквозь человеческий ноль звенящие сосны и звёздное поле с холодным журчаньем ползут

Ты в обруче — тело! Ты — самоконтроля вздыхающий механизм — но как часовая пружина сомкнись как — помнишь? — за партою в школе за миг до звонка. И когда назовут

твою, но уже неземную фамилью— незнаньем и недоуменьем наполнятся лёгкие— звёздномеловою пылью и раненым ревом оленьим

* * *

Со зрением своим недостоверным с одним куском из тысячи возможных уходишь отовсюду, говоря: Я видел. Я узнал. Я, стало быть, художник. И перед миром одномерным душа склоняется твоя. Но знаю вспышку дучшего незнанья: мы путешествовали как бы и не с нами дрожали скалы на сетчатке Не мы их видели — невидимая трасса сквозь темноту словарного запаса, сквозь оговорки, через опечатки в лицо вбегала, вышибая прочь глубокую затылочную ночь Короткий свет — но зрения короче последняя попытка превозмочь последнее из одиночеств

* * *

Только подумаешь: это прекрасно! — иней ветвистый, зелёный закат — как созерцание, вспыхнув, погасло и затемнённые люди стоят

По недостатку ли напечатлений или по бедности муниципальной — свету немного, но вот что печально: этот, оставшийся, — это последний

свет. Торжествующих местоимений близится полночь. И мы обратились как бы к истокам, а в сущности — вспять Господи! я не могу повторять

прежние наши ландшафты — они износились стали базарной клеёнкой на барахолке закрытой властями

Бахчисарай

и канючит и ноет и жилы по жилочке тянет Для стиха заунывного, для паразита есть венок из омелы, гора из костей перемытых есть источник исчерпанный несколькими горстями Археолог находит керамику и намогильные плиты городскую больницу находит партиец и предисполкома я вожусь как последний крестьянин ничего не ища в теплоте краснозёма Как мы, вечные дети, без деятельности бесцельной? как мы здесь, без бирюлек, но с высохшей глоткой слышим пенье чужое и шум корабельный в пальцах сложенных лодкой дырявой, щелистой?

Примечания

- 1 Стихотворение-«молитва» создано в день рождения второй жены Ф. И. Тютчева, Эрнестины Фёдоровны Тютчевой. В нём выразилось отношение поэта к чувствам жены, связанным с любовью Ф. И. Тютчева к Е. Денисьевой.
- ² С точки зрения В. Кривулина адресатом стихотворения, в отличие от прозаического произведения, всегда является Бог.
 - 3 *Как души смотрят с высоты* строка из стихотворения Ф. И. Тютчева

Она сидела на полу
И груду писем разбирала —
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала —

Брала знакомые листы И чудно так на них глядела — Как души смотрят с высоты На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут, Невозвратимо-пережитой! О, сколько горестных минут, Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне И пасть готов был на колени, — И страшно грустно стало мне, Как от присущей милой тени.

- 4 Людмила Андреевна Чистович лингвист, профессор Института физиологии им. И. П. Павлова, основатель Института раннего вмешательства (помощь семьям, имеющим детей с нарушениями, а также детям из группы социального и биологического риска).
- 5 Татьяна Михайловна Горичева (род. в 1947) литератор, философ, в 70-е годы автор и редактор самиздата, организатор религиозно-философского семинара. Участница феминистского движения в λ енинграде. Жена В. Кривулина.
- ⁶ Лев Александрович Рудкевич (род. в 1946) биолог, психолог, доктор психологических наук, друг Виктора Кривулина, один из создателей в Ленинграде (вместе с Татьяной Горичевой и Виктором Кривулиным) самиздатского журнала «37» (1976–1981), в 1977 г. вынужден был эмигрировать, жил в Австрии, в Вене. В 1986 г. заместитель главного редактора журнала «Грани». В 1991 г. вернулся в Петербург.
- 7 «Увертюра II» вероятно, вторая из четырёх увертюр к опере Бетховена «Фиделио», так называемая «Леонора № 2» («Леонора» первоначальное название оперы).

202

- 8 День рождения В. Кривулина 9 июля 1944 г.
- 9 Аня Анна Кожина в 1972–1974 гг. жена В. Кривулина.
- ¹⁰ Птишка, Пти-Борис, Борис Иванович Смелов (1951–1998) фотограф, художник. В эссе «Голубь на могиле фотографа» В. Кривулин писал: «Борис Иванович Смелов, гениальный фотограф, без которого уже невозможно представить художественную жизнь Петербурга...» (В. Кривулин «Охота на мамонта»).
- 11 Вячеслав Иммануилович Долинин (р. 1946) писатель, историк, правозащитник, за участие в издании информационного бюллетеня свободных профсоюзов в СССР приговорён к шести годам лишения свободы, из которых отбыл пять (освобождён досрочно в 1987 г.).
- ¹² Орех, Арефьев Александр Дмитриевич (1931–1978) художник, живописец, график. «Арефьевская группа», или «Арефьевский круг» группа художников, одно из наиболее ярких явлений художественной культуры в России второй половины XX века.
- ¹³ Мария Николаевна Изергина (1904–1998) пианистка, певица, подруга Марии Степановны Волошиной, жены Максимилиана Волошина. Являлась членом близкого Волошину общества «Аргонавты», участники которого увлекались поэзией, философией, музыкой, драматическим искусством. Выстроенный ею в Коктебеле с помощью М. С. Волошиной в 1958 г. дом на протяжении сорока лет служил центром притяжения и общения российской интеллигенции. Среди друзей дома были М. С. Волошина, А. И. Цветаева, Григорий Николаевич Петников. Воспоминания о М. Н. Изергиной, в том числе Василия Аксёнова, Алексея Козлова, Евгения Рейна, Евгения Бачурина, опубликованы в 82-м номере журнала «Наше наследие» за 2007 г.
- ¹⁴ Евгений Иванович Изварин архитектор, заместитель генерального директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского и проектного института градостроительного проектирования, знакомый В. Кривулина.
 - 15 Ингеборг Бахман (1923–1973) австрийская поэтесса.
- ¹⁶ Пётр Якир (1923–1982) историк, общественный деятель, правозащитник. Сын видного советского военачальника И. Э. Якира, казнённого в 1937 г. После гибели отца, в возрасте 14 лет был заключён в колонию на 5 лет. Через 2 года после освобождения арестован вновь и приговорён к 8 годам заключения. В 1972 г. арестован за правозащитную деятельность. После 14 месяцев следствия признал себя виновным, объявил о раскаянии и отошёл от общественной деятельности.
- ¹⁷ Михаил Иванов (1927–2000) художник, график. Сын писателя И. Бабеля, приёмный сын писателя Вс. Иванова. Один из организаторов группы «Девяти», представители которой участвовали в знаменитой московской выставке 1962 г. в Манеже. Для участников группы характерны колористические поиски, в которых они сознавали себя продолжателями Сезанна в той сфере художественного видения, которая была открыта импрессионистами.
- 18 Владимир Вейсберг (1924–1985) художник. Участник группы «Девяти». Развивал метод живописной работы, основанный на принципе разложения цвета и

растягивания хроматического ряда до предела возможностей зрительного восприятия. В результате развития данного метода им была создана концепция «невидимой живописи».

- 19 Юрий Злотников (р. 1930) художник-абстракционист. Изучал механизм и специфику реакции субъекта на цвет и форму. Получил известность циклом графических работ «Сигнальная система». Позже занялся поиском синтеза между тем, что называет «логическим» и «чувственным» началами.
- 20 Михаил Шварцман (1926–1997) художник, график, философ, педагог, создатель художественно-философской системы, названной им «Иератизм». Основатель московской школы графического дизайна.
- 21 Анастасия Цветаева (1894–1993) писатель, мемуарист, сестра Марины Цветаевой.
- 22 Анатолий Шевченко (1938–2012) гитарист, композитор, музыковед, художник, поэт. Много работал в стиле фламенко как исполнитель и композитор, исследовал его как музыковед.
- 23 Мария Луиза Анидо (1907–1996) аргентинская классическая гитаристка и композитор. Неоднократно гастролировала в СССР.
 - ²⁴ Владимир Аркадьевич Сайтанов литературный критик, литературовед.
- ²⁵ Михаил Шейнкер (р. 1948) литературовед, литературный критик. Руководитель «Московского литературно-художественного семинара» (1977–1984), в котором происходили выступления авторов московского и ленинградского поэтического андеграунда. Соучредитель (вместе с М. Бергом) Ассоциации «Новая литература» и журнала «Вестник новой литературы» (1989–1995). Составитель книги «Поэзия второй половины XX века» (2002, совместно с Иваном Ахметьевым) и др.

Составитель Владимир Курманаев

Адресат писем — Мария Юрьевна Ивашинцова (1942–2000). Училась на театроведческом факультете ЛГИТМиКа (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончила в середине 1960-х гг., позже там же — режиссуру (заочно). Писала о современном отечественном театре, сотрудничала с журналом «Театр», где её наставником была известный театральный критик Наталья Крымова, и другими изданиями (часть статей была подписана фамилией Мелкумян). Занималась фотографией, которой училась у Бориса Смелова.

Фотоснимки из личного архива М. Ю. Ивашинцовой предоставлены Анной Мелваровной Мелкумян. Подготовка к публикации — Д. Д. Ивашинцов